

Сергей
Дмитренко

САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

*Генерал
без
орденов*



молодая гвардия



А. С. Пушкин (1799-1837)

**Сергей
ДМИТРЕНКО**

САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

Генерал без орденов



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2022

Информация от издательства

Художественное оформление К. Забусика

Дмитренко С. Ф.

Салтыков (Щедрин): Генерал без орденов / Сергей Дмитренко. — М.: Молодая гвардия, 2022.

ISBN 978-5-235-04663-4

Этот писатель известен всем, его произведения давно входят в школьную программу, однако его биография известна немногим. Его настоящее имя — Михаил Евграфович Салтыков — и псевдоним «Н. Щедрин» прочно соединились в фамилию «Салтыков-Щедрин», которой он никогда не пользовался. В советское время его считали революционером, обличителем «язв самодержавия», хотя он был сторонником реформ и царским чиновником, дослужившимся до вице-губернатора. Книга историка литературы Сергея Дмитренко с небывалой прежде объективностью и полнотой описывает творческую и личную жизнь Салтыкова (Щедрина) — человека удивительного таланта и громадного трудолюбия, имевшего много друзей и ещё больше врагов, искренне любившего свою страну и верившего в её будущее.

16+

© Дмитренко С. Ф., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

ОТ АВТОРА

Москва. Кремль. К его северо-западной стене во времена князя Дмитрия Донского подступали поля с небольшим лесом посередине, отчего место стали называть Остров. Полтора века спустя сюда от грузной Кутафьей башни уже тянулась улица: поначалу именно она называлась Арбат (по-арабски *арбад* — «пригороды»: городом был Кремль, а здесь селились купцы из жарких стран — совсем и не дремотная Азия издавна стремилась в Белокаменную). Потом улица называлась Смоленской, а в XVIII веке её стали величать Воздвиженкой — при Иване Грозном основали в начале улицы по левую руку монастырь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на Острове, в обиходе — Крестовоздвиженский. Но в 1812 году вторгшиеся в Москву наполеоновские войки монастырь разграбили-осквернили, и он был упразднён.

Так монастырский соборный храм эпохи Петра Великого стал храмом приходским, Крестовоздвиженской церковью. Сама по себе живописная, в стиле украинского барокко, ярусная церковь к 1849 году обрела и шестиярусную колокольню, построенную по проекту архитектора Петра Буренина. Такая архитектура особым образом знаменовала устремлённость ввысь всего сооружения. Стоящий на пути в Кремль храм с высокой колокольней, осеняя окрестные дома, словно перекликался-перезванивался с колокольней Ивана Великого.

В Крестовоздвиженской церкви 6 июня 1856¹ года венчались Михаил Евграфович Салтыков и дочь владимирского вице-губернатора, юная Елизавета Аполлоновна Болтина, рабы Божии Михаил и Елизавета. К сожалению, самого Крестовоздвиженского церковного ансамбля, располагавшегося близ нынешнего дома 7 на Воздвиженке, давно нет — он беспечально снесён в 1934 году при прокладывании линии метро. Потом и Крестовоздвиженский переулок на сорок лет переименовали: до 1994 года он был переулком Янышева — чем славен этот комиссар-чекист, сгинувший в огне Гражданской

войны? Сохранялись, правда, ворота монастыря, но их тоже уничтожили при строительстве здесь подземного перехода в 1979 году. Экскаватор, вгрызаясь в землю, разбил древние фундаменты, ковш стал тащить из земли человеческие останки — попали на монастырское кладбище... «Культурный слой!» — заволновались бы археологи, да только кто их сюда приглашал? В самосвал этот слой — и на вывоз. Переход построили, действует он и поныне.

Вздыхнув, воспользуемся этим чересчур дорогим тоннелем и перейдём на чётную сторону Воздвиженки, двинемся по ней вверх до пересечения с Моховой, затем повернём по Моховой налево — и так выйдем к ограде университета, об учёбе в котором Салтыков мечтал.

Свернём с Моховой на Никитскую, оставив по правую руку любимый студентами трактир «Британия» напротив Манежа... то есть экзерциргауза, так он в салтыковские времена назывался. Воображение разыгрывается, но только представляем, ничего не придумываем — здесь трактир и стоял, прямо напротив нынешнего входа в Манеж. Не очень-то приглядный домишко, но всем в Москве известный. Беседы об искусстве и эстетические споры в застолье, между пуншами и глинтвейнами — эта *атмосфера студенчества* вспоминалась Салтыкову до конца дней.

Теперь с Большой Никитской улицы направо к Тверской, в Никитский переулочек, а здесь окажемся не перед Центральным телеграфом, а у стоявшего прежде на его месте массивного квадратного здания-каре с внутренним двором и садом. Это Дворянский институт. В нём подросток Салтыков провёл почти два года, а затем, в 1838 году как «отличнейший по поведению и по успехам в науках» (но против его воли) был отправлен в Императорский Царскосельский лицей...

Обогнув Дворянский институт, пройдем по Газетному переулочку назад, на Никитскую, а потом наискосок по переулочку Большому Кисловскому. Здесь, на антресолях двухэтажного каменного, под белой краской дома помещалась редакция журнала «Русский вестник», где в августе того же 1856 года

началось печатание «Губернских очерков» никому ещё не известного Щедрина. Книга сразу нашла тысячи читателей и открыла автору дорогу в литературу. Один из друзей, вспоминая Салтыкова той поры, сравнивал его с «чудесным кровным скакуном, который в крови и пене всегда приходил первым к цели и так восхищал всех».

Ещё вперёд, и Кисловка выводит нас на уже знакомую Воздвиженку, к нашей церкви, подле которой, представим, стоит то ли в раздумье, то ли в приятном волнении новоиспечённого супруга тридцатилетний худощавый брюнет, довольно высокий, в летнем пальто по моде того же самого, многорадостного для Салтыкова года, о котором он на склоне лет в очерке «Счастливец» скажет: «Хорошее это было время, гульливое, весёлое...»

* * *

На склоне лет, в частном письме — обращённом, впрочем, к собрату-литератору, Салтыков обронил: «Ежели будет моя правдивая биография, то она может быть любопытна» (Письмо А. М. Жемчужникову. 25 января 1882 года²).

Но что значит это — *правдивая биография*?

Кто может стать её состоятельным оценщиком, кроме самого главного героя?

Кажется, круг замыкается. Но Салтыков подсовывает предполагаемому биографу искусительный, казалось бы, выход. «Следить за личностью автора по его произведениям дело очень интересное и поучительное» — эту цитату, взятую из его рецензии, доводилось в качестве оправдания встречать в трудах, где сочинения Салтыкова «довольно широко» использовались «с целью извлечения из них автобиографического материала».

Однако мы в эту ловушку не полезем — ни ради поиска «внешнежитийных» подробностей, ни ради схождений «мировоззренческих и публицистических». Разумеется, статьи и рецензии Салтыкова, относящиеся не к беллетризованной

части его наследия, дают немало фактов для размышлений и сопоставлений и пройти мимо них нам не придёт в голову. Но читать, например, «Пошехонскую старину» как автобиографическую книгу столь же нелепо, сколь высматривать в чертах Кругогорска из «Губернских очерков» силуэты реальной Вятки.

Мне повезло: когда я входил в круг серьёзного чтения, стало издаваться собрание сочинений Салтыкова-Щедрина в двадцати томах. Так что я вначале прочёл «Губернские очерки», «Историю одного города», «Помпадурсы и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге» в этом доньше лучшем издании классика (сейчас оно удобно выложено и в Сети: <http://rvb.ru/saltykov-shchedrin/toc.htm>) и только потом стал разбираться с биографией и комментариями.

Но сразу хотелось пробиться к жизни Салтыкова сквозь идеологический треск и превратные толкования скрупулёзно собранных исторических фактов. Пробиваюсь до сих пор, и нижеследующее — итог моих попыток понять жизнь Михаила Евграфовича Салтыкова, подписавшего большинство своих произведений псевдонимом «Н. Щедрин».

Спасибо Владиславу Ходасевичу, который в предисловии к своему «Державину» обосновал главную цель авторов биографических повестей: *по-новому рассказать о писателе и попытаться приблизить к сознанию современного читателя его образ, порой забытый, часто затемнённый широко распространёнными, но неверными представлениями.*

И последнее: эта биографическая повесть по праву должна быть посвящена всем советским щедриноведам — архивистам, текстологам, историкам литературы, краеведам во главе с Сергеем Александровичем Макашиным. Их разыскания я беззастенчиво изучал и сопоставлял, а также благодарно использовал. Список литературы дан в заключение книги.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПУШКИН ТРИНАДЦАТОГО ВЫПУСКА (1826–1848)

Каждому человеку дороги самые первые его воспоминания о жизни. Им придаётся особое значение, в них видят черты знамений и пророчеств. Подавно особое внимание вызывают воспоминания о младенчестве выдающихся людей. И Салтыков вроде бы своих поклонников не разочаровал.

Вскоре после кончины Михаила Евграфовича его сотрудник по журналу «Отечественные записки», литератор по профессии, социал-радикал по образу мысли и действий Сергей Кривенко выпустил первую биографию писателя, где щедро делился впечатлениями о своём общении с классиком.

«Однажды мы заговорили с ним о памяти, — повествует Кривенко, — с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, и он мне сказал: “А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка — гувернантка старших моих братьев и сестёр — заступает за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком ещё мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше”».

Правда, в наследии самого Салтыкова собственноручных его подтверждений этому замечательному свидетельству обнаружить не удалось. Но камертон был задан.

Например, как ни объяснял писатель, что в его закатной книге «Пошехонская старина» «автобиографического элемента... очень мало», его столь же мало слушали, выводя именно из «Пошехонской старины» историю детства сатирика и особое его мировидение. Так, в первой салтыковской биографии советского времени соответствующая глава называется «Пошехонское детство» и начинается словами: «Страшно было детство Щедрина...» Впрочем, трогательное, но отнюдь не благое слияние живого писателя с его литературным доверенным лицом —

вообще характерная черта трудов многих пишущих о Салтыкове-Щедрине.

Поэтому, чтобы удержаться на поле реальности, мы отложим пока что прекрасные щедринские книги и отправимся на родину Салтыкова.

Спас-Угол

Сейчас это север Московской области, Талдомский район, но так стало только в XX веке. Во времена Салтыкова его родное село Спас-Угол относилось к Тверской губернии и пребывало в самом углу Калязинского уезда, откуда и пошло название. В автобиографических заметках Салтыков назвал своих родителей «довольно богатыми местными помещиками», добавив: «Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался».

Здесь заметим: ко времени появления Салтыкова на свет в русском национальном сознании уже прочно угнездился образ чудовищной Салтычихи. Эта помещица-садистка стала олицетворением произвола и всех мерзостей крепостничества. При этом Салтыковой Дарья Николаевна Иванова (1730–1801) стала только в недолгом замужестве (рано овдовела), а впоследствии по решению суда её было запрещено именовать как Салтыковой, так и Ивановой — впрочем, для народной молвы любые юридические решения не указ. Муж Салтыковой принадлежал к старобоярской, княжеско-графской ветви обширного салтыковского рода, а Михаил Евграфович — к менее именитой, известной с 1560-х годов, причём под фамилией *Сатыковых*.

Решительно изменил историческую судьбу семьи Тимофей Иванов сын Сатыков по прозвищу Курган. Он, как установил главный щедриновед XX века Сергей Александрович Макашин, отличился в русско-польской войне начала XVII столетия и позднее был записан в число «дворян и детей боярских», а также «верстан» поместным и денежным окладами. Но главное, что Сатыков ничтоже сумняшеся смог переделать свою фамилию на *Салтыков*, тем самым приписав себе принадлежность к упомянутому знатному роду. Не без сложностей она всё же перешла к его потомкам, среди которых был и Михаил Евграфович.

Вероятно, талдомские земли оказались во владении ещё Сатыковых и постепенно стали наследственной собственностью, вотчиной уже Салтыковых. Вотчина получила своё имя по сооружённой здесь, по некоторым данным, ещё в XVI веке первоначально деревянной церкви Спаса Преображения Господня. Она сгорела в конце XVIII века, после чего по велению бабушки писателя Надежды Ивановны на её месте возвели каменную. Затем в преобразование храма вложил силы Евграф Васильевич, отец: появились трапезная и колокольня. Спасская церковь сохранилась донине, хотя при коммунистическом правлении её на полвека закрывали и разрушили ограду с двумя воротами и часовню. К счастью, кладбище, где упокоены многие Салтыковы, всё же уцелело. Здание церкви в стиле стандартного классицизма, впрочем, оживлённого некоторыми мотивами барокко, поставлено продуманно, на взгорке, а трёхъярусная, увенчанная шпилем, с парными колоннами колокольня, оказавшаяся сегодня у самой автотрассы, вызывает у проезжающих и приезжающих бодрящие чувства, тем более после проведённого обновления её побелки и покраски.

В трапезной церкви к 160-летию Салтыкова открыли небольшую памятную экспозицию, а с 1990-х годов в церкви вновь идут службы. Сама салтыковская усадьба в Спас-Угле, расположенная, по сегодняшней топографии, напротив храма, через дорогу, выглядит заброшенным парком, в котором вольготно чувствуют себя бобры и прочая живность. Дом, где родился писатель, сгорел (или, скорее, был сожжён) в пожарах Гражданской войны. В 1976 году Советом министров тогдашней РСФСР было отдано распоряжение местным властям «восстановить историко-мемориальную усадьбу писателя в селе Спас-Угол», но до перестройки дело так и не сдвинулось, а потом стране стало не до мемориального Щедрина.

Но у нас есть возможность дать волю своему воображению, вдохновлённому фактами, и представить, что происходило здесь, в Спас-Угле, в январе 1826 года.

* * *

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года. Минул всего через месяц после произошедшей в Петербурге и аукнувшейся в Киевской губернии попытки государственного переворота, в точном значении слова — путча. Его называли *мятежом* (князь Пётр Вяземский), *заговором возмутителей 14 декабря* (Пушкин), а советские историографы — *восстанием декабристов*. Но все позднейшие оценки нам сейчас не интересны. Важно, как происшедшие события воспринимались их современниками. Пушкин, стремясь вырваться из михайловской ссылки, писал Жуковскому как раз во второй половине января 1826 года: «Кто же кроме правительства и полиции не знал о нём [заговоре]? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности». В письме 7 марта он не менее красноречив: «Какой бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». Признание это адресовано Жуковскому, но Пушкину ли не знать, что его письма не зашторены от чужих глаз?! При этом мы можем предположить, что слова Пушкина передают отношение многих к мятежу и к мятежникам.

Вполне возможно, что сходным образом развивались мысли и у Евграфа Васильевича Салтыкова, отставного коллежского советника (то есть полковника), томившегося в Спас-Угле в ожидании очередных родов жены. Далёкий от веселья оборот эти мысли имели хотя бы потому, что в декабре у них во младенчестве, не дожив и до года, скончалась дочь Софья. Эта смерть была тем более печальной, что доселе его и Ольги Михайловны дети — Надежда, Дмитрий, Николай, Вера, Любовь — рождались и росли без особых тревог. Поскольку рожать Надежду, Дмитрия и Николая жена выезжала в Москву, в семью отца, постольку и теперь, для верности, надо было бы туда отправиться, но вот, поди ж ты, не сложилось (вероятнее всего, из-за смерти малышки), а теперь поздно, ведь без малого

полтораста вёрст, по зимним-то дорогам — что по тракту Угличскому, через Троице-Сергиев, что по старому Кашинско-Дмитровскому тракту, мимо Талдома через Вотрю, всё одно — двое суток...

Не тешил Евграфа Васильевича и его возраст. В наступившем году ему исполнялось пятьдесят — притом что старшей дочери, Надежде, было всего восемь. Сам-то он остался без отца в десять лет. Жена, конечно, у него хозяйка такая, что вся округа дивится, но дети совсем малы...

От размышлений о судьбе наследников сидевший среди спасских снегов и в крещенских морозах Евграф Васильевич, надо полагать, переходил к тревожным догадкам о том, что же всё-таки произошло в столице. То, что он знал о военном *возмущении*, — бесспорно. Бездетный император Александр Павлович, младше Евграфа Васильевича на год с небольшим, умер в ноябре, и наследником престола был объявлен его младший брат, Константин Павлович. С 27 ноября в Петербурге и в Москве армия, чиновники, члены Государственного совета приносили присягу на верность новому императору и самодержцу всероссийскому. Хотя и не было в те времена интернета, телефона и даже телеграфа, курьерская служба действовала исправно, Спас-Угол, несмотря на своё название, медвежьим углом не был, а Святки и новогодье распространению новостей, да ещё таких, только способствовали.

Конечно, Евграф Васильевич не знал, что Константин отрёкся от престола, не знал и о манифесте 16 августа 1823 года, согласно которому наследником престола объявлялся следующий брат, Николай — да ведь и сам Николай узнал об этом манифесте только после смерти Александра Павловича. Но даже узнав, не решился выполнить распоряжение покойного императора — и присягнул Константину. Но живший в Варшаве Константин стоял на своём и дважды заявил об отречении...

Впрочем, как раз эти придворные страсти едва ли произвели на Евграфа Васильевича особое впечатление. Дело в том, что его отец, поручик лейб-гвардии Семёновского полка Василий

Богданович Салтыков, в солидном тридцатипятилетнем возрасте в 1762 году участвовал в дворцовом перевороте — и участвовал успешно. Ставшая императрицей Екатерина Вторая среди прочих вознаградила и его. Недолго думая, лейб-гвардии капитан-поручик Салтыков вышел в отставку, а также нашёл себе молодую невесту из купеческого рода Надежду Нечаеву, девушку не только с образованием, но и с сильным характером. И семья сложилась, лишь с сыновьями родителям не везло, Евграф был единственно выжившим из трёх, правда, ещё шестеро сестёр рядом...

Хорошо помнил Евграф Васильевич и годы правления императора Павла. Умная, дальновидная Надежда Ивановна серьёзно подготовила его к государственной службе по дипломатической части. На семнадцатом году жизни записала сына сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, но главное, на свои средства дала ему серьёзное образование. Учителя приглашались не только из столиц, а также иностранные. Он прошёл курсы математики, географии, истории, изучал тактику, фортификацию и артиллерийское дело. Знал немецкий, французский, английский язык, затем выучил и голландский. Однако 1 января 1797 года только что обретший трон Павел безо всякой причины исключил Евграфа Салтыкова из военной службы, что ввергло того в тяжёлую тоску. Даже удачно выпавшая московская встреча с императором в пору Троицы 1798 года в итоге ничего в его судьбе не сдвинула.

Так что переворот 1801 года Евграф Васильевич, вне сомнений, встретил с воодушевлением, ибо вскоре подал императору Александру Павловичу прошение о пожаловании ему офицерского чина и уехал из Спас-Угла в Петербург. Здесь он даже ухитрился угодить в круг ордена мальтийских рыцарей, стать «юстицким кавалером великого приорства Российского» и получить кавалерский крест державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Однако эти громкие титулы и отличия никаких доходов не приносили. Тогда Евграф Васильевич погрузился в иностранные труды и на основании извлечений

из них подготовил внушительный трёхтомник — «Полный курс всей военной архитектуры, или легчайший способ изучиться инженерному искусству, собранный из лучших иностранных авторов и на русский язык переведённый с прибавлением кавалером Евграфом Салтыковым». Книга была посвящена государю и поднесена ему в надежде получить какое-нибудь учёное место в императорской свите. Однако выпал ему лишь чин переводчика в Государственной коллегии иностранных дел, причём поначалу даже «без получения жалованья», да и потом жалованье было не по столичным тратам.

Волей-неволей пришлось переводиться в Московский архив той же коллегии, входившей теперь в новое Министерство иностранных дел, и уже здесь 11 лет, до 1816 года, тянуть служебную лямку, впрочем, перемежающуюся книжно-переводческими занятиями и продолжительными отъездами в имение. Следует заметить, что в Спасском шла жизнь, которая не сводилась к сельскохозяйственным или матримониальным заботам. Так, Евграф Васильевич создал герб своего рода с генеалогическим «древом Салтыковых» — как впоследствии выяснили учёные, во многом легендарным, но, судя по всему, поддержанным матерью, Надеждой Ивановной. Зато она, да, пожалуй, и её дочери, как видно, не печалились по поводу холостого состояния Евграфа Васильевича и не стремились помочь ему определить семейную участь. Сам он задумался над сим предметом лишь после кончины маменьки в 1813 году и обретения наследства.

Как отмечено выше, Надежда Ивановна была дамой образованной, начавшей вести историю семьи в книжках «Месяцесловов», неуклонно следившей за книжными новинками. Незадолго до кончины она просила сына прислать ей труд французского историка, королевского историографа Шарля Пино-Дюкло «*Considrations sur les moeurs de ce sicle*». Он вышел в Петербурге в русском переводе под заглавием «Рассуждения о нравах сего века». Скорее всего, книга сохранилась в библиотеке бабушки и едва ли была оставлена без внимания её внуком. Во всяком случае, у Михаила Евграфовича

не раз встречаются рассуждения о нравах его века, разумеется, в соответствующем стиле обработанные. Однажды он, представляя свои сочинения, обозначенные как *сатиры в прозе*, даже просил читателей: «Примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашим учителем! Я только заношу, что между вами происходит, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги и сновидения...»

Проблема этих самых *нравов* как существеннейшего начала человеческого развития волновала и многочитающего, многознающего Евграфа Васильевича. Политика нового императора довольно скоро стала вызывать его недовольство. Ещё в 1807 году, когда Александр поддержал континентальную блокаду Англии, устроенную Наполеоном, Салтыков, не подозревая, что ему суждено стать отцом величайшего сатирика, пишет обличительное стихотворение «Плач здешних жителей», где раскрывает козни *внутренних врагов*, воспользовавшихся затруднениями в товарообороте:

Враги же в свете есть бесстыдные плутцы,
Грабители людей, бесчестные купцы.
На сахар цену вновь и тотчас наложили,
Полтину стоит фунт, — рублём уж обложили!

Указав властям на необходимость ограничить аппетиты *мерзких плутов*, Евграф Васильевич, впрочем, не надеется на них и потому призывает другую силу покарать барышников, готовых ради выгоды дойти и до христопродавства:

Священные отцы! вы милость нам явите
И лихоимцев всех в соборе прокляните.

Любопытно, что в литературно беспомощных версификациях отца явственно просматривается та оппозиция, которая впоследствии предопределит общий пафос гениальных творений сына: стиль Щедрина отличает удивительное

сочетание фантазмагорий, изображающих несовершенное земное мироустройство, с упрямо повторяющимися лирическими высказываниями, основанными на поистине религиозной вере в существование Идеала, который и есть высшая справедливость.

Также забавно заметить, что обличитель *бесчестных купцов* Евграф Васильевич и сам принадлежал по матери к купеческому сословию и невесту себе нашёл среди московских купеческих дочек. Ольга была дочерью откупщика (то есть купца, приобретшего право на вино- или солеторговлю) Михаила Петровича Забелина, а будущий тесть был всего одиннадцатью годами старше искателя руки его дочери. Нам ничего не известно о том, как пережил Евграф Васильевич наполеоновское нашествие и пожар Москвы, а состоятельный, вероятно, виноторговец, купец первой гильдии Михаил Петрович, если воспринимать вслед за щедриноведами известный фрагмент из «Пошехонской старины» как исторический источник, как раз в 1812 году сделал значительное пожертвование на армию и за это был награждён чином коллежского асессора (майора) и так получил право на потомственное дворянство.

Если же держаться документов, то мы не можем не отметить, что приданое, полученное Евграфом Васильевичем за пятнадцатилетней, недавно оставшейся без матери невестой, оказалось намного меньше, чем он рассчитывал, но всё же его хватило на то, чтобы поправить его ветшающую вотчину. Да и жена ему досталась хозяйственная и рьяно взялась за дела. Зато супруг в карьере не преуспел. Вышедший накануне женитьбы в отставку, Евграф Васильевич через несколько лет вновь попытался вернуться на службу. Он надеялся получить почётное придворное звание камергера, которое не приносило каких-то имущественных благ, но уравнивало с особами генеральских чинов, приближало ко двору. Тщетно! Потерпев неудачу, он окончательно погрузился в усадебную жизнь.

* * *

Щедриноведы нескольких поколений, порой с поистине детской наивностью, соединяли в своих работах многодневными усилиями добытые документированные факты с художественными пассажами из книг Салтыкова-Щедрина. Не без оснований полагая, что образ его матери, Ольги Михайловны, так или иначе отразился в соответствующих персонажах «Благонамеренных речей», «Господ Головлёвых», «Пошехонской старины» и так далее, они всё же не учитывали той творческой свободы, которой наделён даже писатель средней руки – а Салтыков был литературный гений.

Дочь его вятского знакомого Николая Ионина рассказывала, что отец всегда «возмущался, когда Михаил Евграфович говорил о своих родителях»: он «был чрезвычайно воздержан в словах и выражениях». Сходно писала в своих воспоминаниях и жена младшего брата Салтыкова Ильи: «Не могу простить глумления его над собственной семьёй, а в особенности выставления напоказ родной своей матери». Но если человек может быть субъективен в восприятии своих близких, писатель и подавно не обязан быть *воздержан* в своих художественных фантазиях. Романы и даже хроники не могут быть источником информации. Объективные сведения о родителях Салтыкова мы извлекаем из сохранившегося, пусть и разрозненно, семейного архива, обращаясь к письмам Евграфа Васильевича и Ольги Михайловны, к другим документам.

Определённый интерес представляют и немногочисленные воспоминания. Так, племянница Салтыкова, дочь его младшего брата Ильи, Ольга Зубова, проведшая с бабушкой-тёзкой детство, замечала: «При описаниях краски ведь всегда сгущаются, а тип помещицы Арины Петровны Головлёвой, выведенный Михаилом Евграфовичем, это ведь художественный образ, а вовсе не портрет его матери, хотя при создании этого образа и были использованы кое-какие черты, действительно присущие моей бабушке. Насколько мне помнится, сам автор не раз ведь просил и устно, и в печати

не считать его произведения за биографические или автобиографические. Была Ольга Михайловна в самом деле барыня-самодурка, крикливая и несдержанная, допускавшая иногда в своих поступках несправедливость и пристрастность, но не жестокая, не злобная и никогда никого не загубившая».

Нет свидетельств о том, получила ли Ольга Михайловна хотя бы начальное систематическое образование. Но её орфографически не очень совершенные письма показывают, что она чувствовала и любила живую речь, имела природный дар рассказчицы, языковой слух — она легко находит точные, незатасканные слова в описаниях событий, лиц, переживаний. Быть может, одолей она вполне грамматику — и этот стихийный разлив кипящей жизни потерял бы и сердечную горячность, и упругую страстность. Можно видеть, что в её характере деловитость сочеталась с живостью ума и разнообразными талантами. Будучи матерью семейства (в итоге родила девятерых), она, почувствовав необходимость, вместе с детьми стала учить французский язык — и выучила. А своих дочерей отдала в учение систематическое — в Московский Екатерининский институт благородных девиц (он, между прочим, помещался в бывшей загородной усадьбе графа Алексея Салтыкова, из другой, именитой ветви рода; теперь это Суворовская площадь Москвы, а здание занимает Культурный центр Вооружённых сил России). Ольга Михайловна была чутким воспитателем, куда более успешным, чем её витавший в эмпиреях муж.

Когда Евграф Васильевич стал жаловаться уехавшей в Москву рожать жене на неумёху-учителя, Ольга Михайловна ответила коротко и чётко: «Учитель глуп и от глупости не умеет ими управлять... А ты не философствуй, о чистописании хлопочи и тверди ему о науках — вот главное, а у тебя голова пустяками полна».

В другом письме из Москвы мужу, пожаловавшемуся на непослушание и озорство сыновей, она снова проявляет своё педагогическое искусство: «Послушайте, дурные и непокорные дети, особенно ты, Николай. Вы меня до того раздражали, что

я Веру и Любовь отдала на пять лет в институт. А про тебя просила, Николай, Государя, как непокорного и огорчившего сына, за дерзости и непослушание наставникам и разные пороки, куда угодно Государю удалить на вечное удаление от родительского дому и жду на днях предписания, чтоб тебя велел представить. Ежели же ты исправишься и я получу от папеньки и твоих наставников хорошие отзывы, то могу тебя опять просить и спасти от вечного заключения, а не то — прощай навсегда. Я жертвую тобой, как недостойным сыном, для спасения, примерным наказанием тебя, меньших, коим Мише и Сергею, — приказываю себя вести кротко и послушно, иначе то же и с ними будет».

Вместе с тем Ольга Михайловна, сомневаясь в способности мужа руководить учением сыновей, отдаёт соответствующие распоряжения старшему сыну Дмитрию: «Смотри, чтоб дети... учились... Во время класса надзирай и останавливай их... И чтобы не играли всякий день по 2 часа и во время игранья на фортепиано ты будь подле них». Но главное то, что завершает она письмо красноречивым пассажем, написанным, обратим внимание, на отдельном листке. Начертанное здесь говорит очень многое и о личности Ольги Михайловны, и о том, что её воспитательные принципы были не стихийными, а имели убедительную психологическую основу:

«Митя, хоть я и пишу и приказываю тебе быть строже с братьями твоими, позволяю тебе их наказывать, ты то им письмо и покажи, чтобы они тебя слушались и боялись, но о сей записке им не говори, а мой совет таков: старайся их уговаривать ласково, но жестокости не делай, не озлобляй их против себя, помни, что они хотя меньшие, но ровные тебе братья, то неприлично тебе жестоко поступать. Наказать в угол или как-нибудь увещевание благородным образом, но отнюдь не бить и подлыми словами не ругаться. И учитель ежели будет их ругать или бить, то ты его останови и скажи, что ты мне напишешь, но ему не позволишь так поступать без моего позволения, ибо я тебе поручила за обращением наставника глядеть и мне сказать и в случае дурного обхождения его

остановить. И сам поступай нежнее и благороднее, за что я тобой буду благодарна».

Мы забежали немного вперёд, в 1834 год, когда Ольга Михайловна в Москве рожала последыша, сына Илью. Забежали намеренно, чтобы попытаться всё же увидеть мать писателя без искажающих теней. Нет нужды её приукрашивать, но тем более было бы странным составлять её мозаичный портрет из фрагментов, относящихся к соответствующим щедринским персонажам. И подавно нелепицей стали бы попытки рисовать в этой биографической книге *пошехонское детство* Михаила Евграфовича. Мы хотим знать, как выглядело детство *салтыковское*.

* * *

Ольга Михайловна разрешилась от бремени успешно и уже через день, 17 января 1826 года мальчика крестили в Спасо-Преображенской церкви. Новорождённый оказался наделён даром сочетать буйную творческую фантазию с педантизмом чиновника Министерства финансов и архивиста-историографа. Так что когда в пору работы над «Пошехонской стариной» он готовился праздновать день рождения, то в приглажительной записке одному из своих друзей счёл необходимым сообщить подробности происшедшего: «Принимала бабка повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: “Сей младенец будет разгонщик женский”».

Сказанное соответствует церковной метрической книге, но очевидно, что подробности своего рождения Салтыков знал также из родительских писем и семейных хроник, которые в той или иной форме вели и отец и мать. Но в записях Ольги Михайловны отмечено, что при совершении крещения Курбатов сказал несколько иное: новорождённый «будет воин». Едва ли Михаил Евграфович не ощущал себя литературным воином,

но тем не менее и в пригласительной записке несколько сместил акценты. Между прочим, в «Пошехонской старине» появляется третий вариант, вновь подтверждающий, что надо воспринимать книгу Щедрина так, как просил Салтыков: «Она просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу». Это плод художественной фантазии, а не простой источник материалов к биографии писателя. Здесь слова восприемника повествователь передаёт так: «Он предсказал и будущую судьбу мою, — что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником».

Но по-своему любопытно и упоминание «разгонщика женского» в пригласительной записке. Так, скорее всего, самоиронически отразилась ревнивая любовь Михаила Евграфовича к жене, красавице Елизавете Аполлоновне, и притворная строгость к такой же красавице, дочери Лизе. Впрочем, о «разгонщике женском» мы ещё вспомним, когда обратимся к частной жизни молодого Салтыкова и к своеобразному отражению в его произведениях любовной темы.

А пока мальчик растёт. Ольга Михайловна на него не нарадуется и пишет уехавшему из усадьбы мужу: «Миша так мил, что чудо. Всё говорит и хорошо. Беспреданно со мной бывает и не отходит. Всё утешает меня в разлуке с тобой... Признаюсь, мой друг, я при нём покойнее и веселее, и все его целуют». Эта же говорливость и общительность будущего лидера журнала «Отечественные записки» отмечена и в другом письме Евграфу Васильевичу, относящемся к тому же сентябрю 1827 года: «Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, всё говорит, беспреданно у меня и поутру, как проснётся, то в столовую идёт меня искать, спрашивает: тятя где? маменька, чаю хочу. Идёт в твой кабинет, мы там пиём чай, потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи, берёт за руку и ведёт: дай чаю, маменька. Сколько он меня утешает, что при нём немного забываю нашу разлуку».

Тогда же крепостной художник Лев Григорьев пишет первый портрет Салтыкова. В правой руке у младенца, судя по всему, погремушка, но держит он её так, словно это перо или даже скипетр.

На четвёртом году жизни сестра Надя берётся за обучение Миши азбуке, а вскоре гувернантка старших детей мадам де Ламбер начнёт преподавать ему французский язык. Впрочем, занятия эти шли, по разным сведениям, ни шатко ни валко, хотя иностранный язык давался Мише легче, чем родная речь. Только в январе 1832 года он, по его собственному позднему свидетельству, «был посвящён в русскую грамоту»: «Отслужили молебен и призвали крепостного живописца Павла, которому и приказали обучать меня азбуке, чтению и письму. Помню я и азбуку (с картинками: А — Арбуз, Д — Данило и т. д.), и красную указку, и самого Павла, высокого худого старика в зеленовато-желтоватом фризовом сюртуке. Учил он меня по-старинному *азами*, и выучил на всю жизнь. Так что и теперь могу проговорить азбуку только по-старинному: аз, буки, веди, а по-новому сбиваюсь... Впрочем, месяца через два я уже связно читал и даже писал по-линейному...»

Успехи во французском языке пришли одновременно: отца с днём рождения Миша поздравил французским стихотворением, подписав его: «*Ecrit par votre trs humble fils Michel Saltykoff. Le 16 Octobre 1832*». Вероятно, это первый автограф писателя. Листок с ним отыскался в бумагах Салтыкова вскоре после его кончины, но наш «весьма скромный автор» задал исследователям задачу. То, что это стихотворение, с соответствующим изменением обстоятельств его представления, попало в «Пошехонскую старину», не вызывает удивления и даже особого интереса. А вот его авторство не прояснено, и даже Сергей Кривенко, первый биограф Салтыкова и его сотрудник, не имел внятного ответа: то ли Михаил Евграфович «читал и писал по-французски раньше, чем по-русски», то ли «стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей».

Так или иначе, этот эпизод и его толкование современником вновь отводит нас от превратно рисуемых картин жизни

Салтыкова в отчем доме. Как видно, детство всех восьмерых детей Салтыковых — и пятерых братьев, и трёх сестёр, бесхитростно носивших излюбленные русские имена Надежда, Вера, Любовь (не забудем об умершей малютке Софье) — протекало не только в играх и забавах, но и в учении.

Особой радостью были поездки в Москву, к арбатскому жителю, дедушке Михаилу Петровичу (точно установлено, что он владел деревянным домом в Большом Афанасьевском переулке, где, вероятно, и скончался в 1840 году). По тогдашнему обыкновению Салтыковы проводили в Москве и некоторые зимы. Верно, из-за того, что дом отца был невелик, Ольга Михайловна, приезжая в Москву с разраставшимся семейством, нередко останавливалась в съёмных квартирах или домах — в арбатских переулках, на Тверском бульваре, Малой Дмитровке, Третьей Мещанской, на постоялом дворе у Сухаревой башни (разрушена в советское время, имя сохранилось в названии станции метро).

Постоянно ездила Ольга Михайловна в Москву и по делам. «Живу совершенно для семейства, для всех вас, домашних, обо всех хлопочу, а мне же спасибо нет» — это её заявление в письме можно прочесть по-разному. Чаще всего оно толковалось как «частнособственнический фетиш семьи». Однако как ни крути, а она чувствовала ответственность за обеспечение восьмерых детей при меланхолическом, мечтательном муже, уже входившем в возраст старости.

Ольга Михайловна внимательно изучила мужнины владения и принялась за преобразования. По площади и количеству душ (275) вотчина, которой владел Евграф Васильевич — то есть село Спасское с деревнями, — даже в пределах Калязинского уезда считалась средней. Но благодаря грамотному устройству хозяйства, очевидно, созданному ещё Надеждой Ивановной, была доходной. Из 3539 десятин земли (*десятина* — это чуть больше гектара) почти половина была отдана крестьянам, причём часть, оставленная за Евграфом Васильевичем, на три четверти была занята лесами. После прихода Ольги Михайловны доходность усадьбы стала неуклонно повышаться,

и в 1832 году она, не отрываясь от постоянного деторождения, стала после аукционных торгов в Москве совладелицей села Заозерье (Заозёры), разумеется, вместе с двумя десятками деревень и с тысячью душ крепостных (напомним, что считали только мужской пол) в Угличском уезде Ярославской губернии.

«Совладелицей» означает то, что она приобрела лишь часть богатого села, бывшего вотчиной князей Волконских и Одоевских, а позже оказавшегося в собственности у нескольких помещиков. Село на юго-западе Ярославской губернии, через которое проходили три большие дороги: угличская, калязинская и ростовская, в течение XIX века крепло и разрасталось, становясь не только торговым, но и ремесленным центром. Заозерье было известно своими кузнецами, мастерами по выделке кос, расходившимися по разным российским ярмаркам, начиная с самой знаменитой — Нижегородской. Ярославщина издавна славна холстами, но и здесь особенно ценилось заозерское полотно, вывозившееся не только в российские столицы, но и за границу. В селе было две церкви — Казанской Божьей Матери на ярмарочной площади и кладбищенская церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В высшей степени наделённая чувством реальности Ольга Михайловна мгновенно приспособила обстоятельства новых угодий к своим собирательским целям. Оставив себе сто десятин лесов, около 5700 десятин она передала на хозяйствование крестьянам. Поскольку от Спас-Угла Заозерье было в значительном отдалении (по прямой 50 вёрст, а дорогами, через Троицу-Нерль и Калязин, все 70 выйдут), Ольга Михайловна поставила почти всех своих крестьян на оброк, освободив их от обременительной для неё самой опеки, — и успешно.

Вероятно, именно Заозерье окончательно укрепило её в собственной жизненной силе, она полюбила это владение, часто бывала здесь, иногда с подрастающим Михаилом. В 1913 году в Угличе вышел любопытный историко-археологический очерк «Летопись села Заозерья», написанный священником Михаилом Миролубовым «по церковным документам и устным

сказаниям». Здесь приводится история о том, как Ольга Михайловна приобрела Заозерье, и приезжая туда, «нередко ходила в гости в дом купцов Ореховых. У них была икона Нерукотворного Спаса, которою Ореховы дорожили как добытою некоторым чудесным способом. Ольга Михайловна как ни придёт в дом Ореховых, так непременно и сядет против этой иконы. Придя однажды в дом и севши по обыкновению на этом месте, против иконы, Салтыкова и говорит: “Алексей Васильевич! я надеюсь, что ты не откажешь сделать для меня то, что я попрошу?” Орехов согласился. А она и говорит: “Подари ты мне эту икону Нерукотворного Спаса”. Всё семейство так и ахнуло. Стали было просить, чтобы она взяла что-то другое. Куда тут. Давай икону — да и только! Так и пришлось отдать икону, которую она и увезла в свой Спас-Угол».

Надо полагать, Ольга Михайловна прознала, что Орехов рассказывает о чудотворности этой иконы: вскоре после того, как Спас оказался в его доме, он, выходец из крепостных, разбогател — и тоже решила так своеобразно благословиться. Возразить на это нечего: богатство коллежской советницы Салтыковой продолжало приумножаться.

Вслед за далёким Заозерьем Ольга Михайловна присмотрела имение всего в десяти верстах от Спасского — сельцо Ермолино с деревнями (тогда в России сельцом называлось поселение с помещичьей усадьбой и несколькими избами крестьян, обслуживающих своего барина, иногда и с часовней). Ермолинское имение было куплено в 1836 году с явным замыслом стать до поры до времени резиденцией Ольги Михайловны. По её велению здесь вырыли пруд, разбили парк и сад, выстроили большой дом и переименовали сельцо в Салтыково. Поблизости у деревни Станки, через которую протекала речка Хотча, воздвигли каменную церковь. Ольга Михайловна намечала передать преобразённое Ермолино Михаилу после его женитьбы. Но история приняла особый оборот, о котором будет рассказано в своём месте, и в 1859 году братьям Михаилу и Сергею Евграфовичам в совместное владение достались заозерские земли.

Увы, наш герой, в отличие от матушки, эти земли не очень любил. О том, как он в своём имении хозяйствовал, речь впереди, а пока отметим, что впечатления от Заозерья мелкнули уже в первом щедринском шедевре — «Губернских очерках». Здесь появляются большое село Заовражье и речка Уста — Устье в настоящем Заозерье. Поэтическое название «Заозерье» трансформируется под острым пером Салтыкова в довольно угрюмый топоним.

И в закатной «Пошехонской старине» не менее угрюмо звучащее Заболотье имеет своим прототипом, как в один голос твердят щедриноведы, то же Заозерье. И то сказать: близ Заозерья было не только озеро, но и обширное болото. Миролубов в своей «Летописи...» дал зримое описание здешней местности, представляющей собой широкую болотистую долину, среди которой в версте от села находится небольшое, но довольно глубокое безымянное озеро с размытыми, топкими берегами. От этого озера, в совокупности с Терпенским (Харловским), в 27 десятин, болотом на восточной стороне села, разделяющим Заозерскую местность от Сигорской, вероятно, и возникло название села.

Впрочем, название «Заболотье» могло прийти в «Пошехонскую старину» совсем не как вольная фантазия салтыковского ума при виде ландшафта полученного наследства. Салтыков с детства знал другое Заболотье — село и окружавшую его топкую торфяную местность, порождённую стоячими водами речек Дубно (Дубна), Кунья и Сулоть (Сулать). Эти Заболотья находились на пути из Спас-Угла в Сергиев Посад, которым Салтыков много раз ездил. Тогда это был Переяславский уезд Владимирской губернии. Так что разрисовывать поля его произведений (да и не только его!) ссылками на предметы и факты из биографической хроники — занятие унылое, а порой и нелепое. Но подавно не следует превращать художественные сочинения писателя в источник исторической фактологии. Пожалуй, лишь однажды можно говорить об особых соотношениях жизненных впечатлений писателя с написанным им.

В абсолютном большинстве случаев на страницы художественных произведений, что называется, *с натуры*, без каких-либо домыслов, преувеличений и фантазий попадают описания природы, мест, краёв, где писатель родился, развивается и живёт. Разумеется, влияет угол зрения, под которым смотрит на мир писатель (в нашем случае нельзя не отметить, что Салтыков, по свидетельствам современников, был близорук), но это отражается лишь в особенностях колорита, цветопередаче, контрасте, не более.

Пейзажи в салтыковских книгах, прежде всего пейзажи российские, встречаются гораздо чаще, чем можно было бы ожидать от сочинений сатирического склада. Более того, к родной природе и даже к родной погоде Салтыков относился с истинно лирическим чувством. Тон был задан признанием ещё в «Губернских очерках»:

«По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших ёлок, который в простонародье слывёт под именем “паршивого”; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растёт, а сменяющая её по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поёт больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоприятные туманы, которые, особенно по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю её. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она всё-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в

Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я всё-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моём сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее своё достояние».

В Индию и Бразилию Салтыков так и не попал (правда, последствия катаклизмов 1917 года забросили его внука в Мексику), да и российскую границу впервые пересёк только двадцать лет спустя после того, как написал эти строки — увидел наконец Европу. И всё же он не лукавил.

Работая в пору, когда пространные описания природы стали художественным анахронизмом и даже властелины литературного ландшафта отказывались от них в пользу изображения воздействий лесов и степей на переживания персонажей, Салтыков не пропускал удовольствия взяться за кисть пейзажиста. И как раз в «Пошехонской старине», словно в переключку с «Губернскими очерками», решил более подробно объяснить свои пристрастия, вновь связав это с дорожными впечатлениями:

«Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пёстрые картины. Здесь же всё было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путём, так сказать, духовной ассимиляции. Когда серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые — сделаются вечно присущими, исполненными живого